

Глава XVIII

Америка объявила войну Испании. Эта новость не стала неожиданностью. На протяжении уже нескольких месяцев в прессе и с церковных кафедр звучали призывы взяться за оружие в защиту жертв испанских кровавых бесчинств на Кубе. Я до глубины души была тронута действиями кубинских и филиппинских повстанцев, которые пытались свергнуть испанское иго. Кстати, я сотрудничала с некоторыми членами хунты, которые занимались подпольной деятельностью и борьбой за свободу Филиппинских островов. Но я совсем не верила в патриотические заявления Америки, объявившей себя бескорыстной стороной, желающей помочь кубинцам. Необязательно было очень хорошо разбираться в политике, чтобы понимать, что Америку интересует только вопрос сахара и здесь нет благородных побуждений. Конечно, многие доверчивые люди — и не только в целом по стране, но даже в либеральных кругах — верили в заявления Америки. Я не могла их поддержать. Я была уверена, что никто, будь то правительство или отдельный человек, вовлечённый в систему порабощения и эксплуатации у себя в стране, не может иметь искреннее принципиальное желание освободить людей в других регионах. Поэтому моя самая важная и самая посещаемая лекция была на тему «Патриотизм и война».

В Сан-Франциско она прошла беспрепятственно, но в небольших калифорнийских городах нам пришлось прокладывать себе путь шаг за шагом. Полицейские, которые и так всегда были рады воспрепятствовать проведению анархистских митингов, с самодовольным видом стояли рядом, что только вдохновляло патриотов на новые попытки помешать выступлениям. Решительность нашей группы из Сан-Франциско и моё хладнокровие вывели нас из многих критических ситуаций. В Сан-Хосе публика выглядела так угрожающе, что я подумала: лучше будет обойтись без председателя и самой вести митинг. Как только я стала говорить, начался хаос. Я обратилась к зачинщикам беспорядка с предложением, чтобы они выбрали кого-то из своих, кто будет вести митинг. «Продолжай! — кричали они. — Ты блефуешь. Сама знаешь, что не позволишь нам управлять своим представлением!» «А почему нет? — крикнула я в ответ. — Мы же хотим выслушать обе стороны, не так ли?» «В точку!» — выкрикнул кто-то. «Нам для этого нужно восстановить порядок, так? — продолжала я. — Похоже, у меня не получается это сделать. Полагаю, кто-то из вас, ребята, может подняться сюда и показать, как заставить помолчать других, пока я обрисую своё видение ситуации. А потом вы сможете высказать ваше мнение. Ну, будьте же хорошими американскими парнями».

Ещё пару минут в зале царил беспокойство: неистовые вопли, крики «Ура!», восклицания «Умница, давайте дадим ей шанс!». Наконец пожилой мужчина ступил на трибуну, стукнул своей тростью по столу и заревел голосом, от которого бы обрушились стены Иерихона: «Тишина! Давайте послушаем, что леди хочет сказать!» На протяжении всей моей часовой речи было спокойно, а когда я закончила, зал разразился аплодисментами.

Среди интереснейших людей, с которыми я познакомилась в Сан-Франциско, были две девушки, сёстры Струнские. Анна, старшая, пришла на мою лекцию по политической деятельности. Она очень негодовала, как я узнала позже, из-за моего «несправедливого отношения к социалистам». На следующий день она «ненадолго», по её словам, зашла ко мне. Анна пробыла у меня весь день, а потом пригласила меня к себе в гости. Там я встретила группу студентов, среди которых был Джек Лондон, и младшую сестру Струнскую, Розу, которая тогда болела. Её отчислили из Стэнфордского университета за то, что она приняла мужчину не в гостиной, а в своей комнате. Я рассказала Анне о своей жизни в Вене и о студентах, с которыми мы пили чай, курили и дискутировали ночи напролёт. Анна считала, что американская женщина получит право на свободу и личную жизнь, только когда сможет голосовать. Я была с ней не согласна. В пример я привела русских женщин, которые уже давно, без права голосовать, добились социальной независимости и возможности самостоятельно принимать решения, касающиеся личных взаимоотношений. Это развило прекрасный дух товарищества, при котором отношения полов становятся такими чистыми и здоровыми.

Я хотела поехать в Лос-Анджелес, но знала, что там нет никого, кто бы мог организовать мне лекцию. Немногие местные немецкие анархисты, с которыми я переписывалась, советовали мне не приезжать. Они переживали, что некоторые мои лекции, особенно по вопросу полов, помешают их деятельности. Я почти оставила идею с Лос-Анджелесом, когда поддержка пришла с неожиданной стороны. Молодой человек, которого я знала как мистера В. из Нью-Мексико, предложил побыть моим устроителем. Он сообщил, что будет в Лос-Анджелесе по делам и рад помочь организовать один митинг. Мистер В., приятный молодой еврей, впервые привлёк моё внимание на лекциях; он приходил каждый вечер и всегда задавал умные вопросы. Он также часто приходил в дом Исааков, и, очевидно, ему были интересны наши идеи. Он был милым человеком, и я приняла его предложение организовать одну лекцию.

Очень скоро мой «устроитель» телеграфировал, что всё готово. В Лос-Анджелесе он встретил меня с букетом цветов и проводил в отель. Это был один из лучших отелей города, и я чувствовала, что неправильно останавливаться в таком фешенебельном месте, но мистер В. доказывал, что это просто предрассудки; он не ожидал подобного от Эммы Гольдман. «Ты хочешь, чтобы митинг был успешным?» — спросил он. «Конечно, — ответила я, — но как с этим связано проживание в дорогих отелях?» «Очень даже напрямую, — уверял он. — Это поможет прорекламировать лекцию». «У анархистов не принято размышлять таким образом», — запротестовала я. «Тем хуже для вас, — парировал он, — поэтому о вас знает так мало людей. Дождись митинга, потом поговорим». Я согласилась остаться.

Следующим сюрпризом была роскошная комната, уставленная цветами. Потом я обнаружила чёрное бархатное платье, приготовленное для меня. «Планируется лекция или свадьба?» — потребовала я объяснений от мистера В. «И то и другое, — быстро ответил он. — Хотя сначала будет лекция».

Мой устроитель снял один из лучших театров в городе и доказывал мне, что, естественно, я не могу появиться на людях в том потрёпанном платье, которое носила в Сан-Франциско.

Однако если мне не нравится наряд, который он выбрал, я могу его сменить. В свой первый приезд в Лос-Анджелес на публике мне необходимо появиться в лучшем виде. «Но какой вам от этого интерес? — упорствовала я. — Вы сказали, что не являетесь анархистом». «Я на пути к тому, чтобы стать им, — ответил он. — Будь разумной. Ты согласилась, чтобы я был твоим устроителем, поэтому позволь мне организовать дело, как я хочу». «Все устроители такие внимательные?» — спросила я. «Да, если они знают своё дело и им нравится их артист», — сказал он.

На следующий день газеты разрывались сообщениями об Эмме Гольдман и «её покровителе — богатом человеке из Нью-Мексико». Чтобы скрыться от репортёров, мистер В. устраивал для меня долгие прогулки по мексиканским кварталам города, водил в рестораны и кафе. Однажды он уговорил меня вместе пойти к его русскому другу, который оказался самым модным портным в городе и убедил меня разрешить снять с себя мерки для пошива костюма. В день лекции я обнаружила в своей комнате простое, но прекрасное чёрное шифоновое платье. Вещи появлялись таинственным образом, как в сказках, которые мне рассказывала моя немецкая няня. Почти каждый день необъяснимо возникали приятные неожиданности.

Митинг был большой, люди были возбуждены, присутствовало немалое количество патриотов. Они несколько раз пробовали создать беспорядок, но разумное председательство «богатого человека из Нью-Мексико» подвело вечер к мирному завершению. После чего ко мне подошло много людей: представившись приверженцами радикальных взглядов, они уговаривали остаться в Лос-Анджелесе и предлагали организовать для меня больше лекций. Благодаря работе моего устроителя из никому неизвестной незнакомки я почти стала знаменитостью.

Позже тем же вечером в маленьком испанском ресторане вдали от толпы мистер В. попросил моей руки. В другой ситуации я бы сочла подобное предложение оскорблением, но этот мужчина делал всё с таким хорошим вкусом, что я не могла злиться на него. «Я и замужество! — воскликнула я. — Вы не спросили, люблю ли я вас. Кроме того, разве вы настолько не верите в любовь, что вам непременно нужно посадить её на замок?» «Что ж, — ответил он. — Я не верю в твою чушь о свободной любви. Я хочу, чтобы ты продолжала свои лекции, я был бы счастлив помогать тебе и поддерживать тебя, чтобы ты могла делать больше и лучше. Но я не смогу делить тебя с кем-то другим».

Старая песня! Как часто я слышала её с тех пор, как стала свободной. Радикал или консерватор — каждый мужчина хочет привязать женщину к себе. Я ему ответила категоричным «Нет!».

Он отказался принимать это как окончательный ответ. Он сказал, что я могу поменять своё решение. Я уверила, что не существует такого варианта, при котором я выйду за него: я не намерена ковать для себя цепи. Однажды я уже сделала это — такое не должно повториться. Мне нравилась только «чушь о свободной любви», никакая другая «чушь» меня не устраивала. Мистер В. ничуть не смутился. Его любовь не мимолётна, он уверен в себе. Он подождёт.

Я попрощалась, уехала из модного отеля и остановилась у еврейских товарищей, с которыми познакомилась на митинге. Ещё целую неделю я давала хорошо посещавшиеся лекции и помогла организовать группу соратников, которые могли продолжать выступления без меня. Потом я вернулась в Сан-Франциско.

В результате моей поездки в Лос-Анджелес во Freiheit появилась статья, осуждающая меня за то, что я останавливалась в дорогом отеле и позволила богачу организовать мне митинг. Автор писал, что моё поведение «подорвало анархизм в глазах рабочих». Учитывая то, что об анархизме в Лос-Анджелесе раньше не слышали на английском и что после моего митинга должна была начаться систематическая пропаганда среди американцев, обвинения Freiheit казались мне смешными. Они стали ещё одной из многих глупых нападок на меня, которые часто появлялись в еженедельнике Моста. Я проигнорировала их, а Free Society напечатала ответ немецкого товарища, который привлёк внимание к положительным результатам моего визита в Лос-Анджелес.

Эд и Егор встретили меня на вокзале в Нью-Йорке. Егор был безмерно рад моему возвращению; Эд, и так серьёзный на людях, в тот момент был необычайно сдержан. Я подумала, что это из-за присутствия брата, но, когда он продолжил держаться на расстоянии, даже оставшись со мной наедине, я поняла, что в нём произошли перемены. Он был так же внимателен и заботлив, как обычно, а наш дом был ещё красивее прежнего, но Эд изменился.

Со своей стороны я не чувствовала никаких эмоциональных перемен по отношению к Эду — я это знала ещё до того, как вернулась. Теперь в его присутствии я была уверена, что, несмотря на разницу во взглядах, я всё ещё люблю его и хочу быть с ним. Но его охладевшее отношение отпугивало меня.

Несмотря на сильную занятость во время тура, я не забывала о поручении, которое Эд дал мне от имени фирмы. Я собрала заказы на «изобретение» и успешно заключила несколько значительных контрактов с большими магазинами канцтоваров в западных городах. Эд был в восторге и хвалил меня за усилия. Но он не проявил никакого интереса и не задал ни единого вопроса о моём туре и лекционной деятельности. Это только больше меня расстроило, усилив недовольство положением дел дома. Надёжная гавань, подарившая мне столько радости и покоя, теперь стала угнетать.

К счастью, у меня не было времени на переживания. Моя помощь нужна была на забастовке рабочих текстильной промышленности в Саммите, штат Нью-Джерси. Там сложилась обычная ситуация: митинги либо запрещали, либо разгоняли дубинками. Нужно было идти на хитрые уловки, чтобы собраться в лесах за городом. Я сильно втянулась в работу, и у меня едва ли хватало времени побыть с Эдом. В редких случаях когда мы были вместе, он молчал. Красноречивыми были лишь его глаза: в них читался укор.

Когда забастовка закончилась, я решила выяснить отношения с Эдом. Я больше не могла этого выносить. Однако разговор был отложен ещё на несколько недель из-за международной охоты на анархистов, которая случилась после того, как Лукени застрелил императрицу Австрии. Хотя я никогда не слышала имени этого человека, тем не менее за

мной следила полиция, а пресса клеймила меня позором, как будто я убила эту несчастную женщину. Я отказывалась поднимать крик «Распятъ!» против Лукени, особенно после того, как я узнала из итальянских анархистских газет, что он вырос на улице и был вынужден пойти в армию в молодости. Он стал свидетелем дикости войны на африканском фронте, с ним жестоко обращались, и кроме того, с тех пор он нищенствовал. Чистое отчаяние довело этого человека до такого поступка, беспричинного протеста. Повсюду в условиях нашей социальной системы жизнь была ничтожной, потерянной и униженной. Как можно тогда ожидать от этого мальчика, что у него будет хоть какое-то почтение к ней? Я выразила сочувствие женщине, которая давно была персоной нон грата в австрийском суде и которая, следовательно, не могла быть ответственна за преступления, творившиеся от имени Короны. Я не видела пропагандистской ценности в поступке Лукени. Он был такой же жертвой, как и императрица; я отказалась присоединяться к неистовому осуждению одного или к чрезмерному сочувствию, проявляемому к другой.

Моё мнение снова стало причиной для предания меня анафеме со стороны прессы и полиции. Естественно, я была не единственная: почти всем ведущим анархистам по всему миру приходилось переживать подобные нападки. Но в Штатах, и особенно в Нью-Йорке, я была белой вороной.

Поступок Лукени, очевидно, вселил ужас в сердца коронованных и даже избираемых правителей, между которыми существовали объяснимые узы солидарности. Тайные совещания властей закончились решением провести международный антианархистский конгресс в Риме. Революционно настроенные и свободолюбивые слои общества в Соединённых Штатах и Европе осознали надвигающуюся угрозу свободе мысли и слова и сразу же начали действовать, чтобы оказать сопротивление приближающейся беде. Повсюду проводились митинги против международного заговора властей. В Нью-Йорке не нашлось ни одного зала, где бы стерпели моё присутствие.

Посреди этих событий пришёл срочный призыв от Ассоциации защиты Александра Беркмана в Питтсбурге к более активной деятельности в пользу его помилования. Дело, которое должно было слушаться в сентябре, перенесли на 21 декабря. Адвокаты считали, что решение Совета по помилованиям будет во многом зависеть от позиции по этому вопросу Эндрю Карнеги и поэтому советовали увидеться с магнатом. Это было бессмысленное предложение, которое Саша однозначно бы не одобрил: такой шаг в любом случае поставит нас всех в глупое положение. Я не знала никого, кто бы согласился пойти к Карнеги, и была уверена, что он всё равно не станет помогать в этом деле. Некоторые из наших доброжелателей тем не менее настаивали, что он отзывчивый и интересуется продвинутыми идеями. В качестве доказательства они приводили случившееся некоторое время назад приглашение Петра Кропоткина в гости к Карнеги. Я знала, что Кропоткин отказался от этой сомнительной чести, ответив, что он не может принять гостеприимства человека, чьи интересы стали причиной нечеловечески сурового приговора его товарищу Александру Беркману и продолжали держать его запертым в Западной тюрьме. Некоторые друзья считали, что желание Карнеги увидеться с Кропоткиным было показателем того, что он благосклонно выслушает просьбу об освобождении Саши. Мне не нравилась эта идея, но в конце концов я поддалась на уговоры Юстуса и Эда, которые отмечали, что мы не должны позволять собственным чувствам становиться на пути Сашиной свободы. Юстус предложил,

чтобы мы написали Бенджамину Такеру с просьбой посетить Карнеги по этому вопросу.

Я знала Такера только по статьям в анархо-индивидуалистской газете Liberty, которую он издавал и редактировал. Он прекрасно владел пером и сделал много, чтобы познакомить своих читателей с лучшими работами немецкой и французской литературы. Но его отношение к анархо-коммунистам было ограниченным и похожим на злобу. «Такер не кажется мне слишком великодушным», — сказала я Юстусу, который настаивал, что я не права и что мы должны как минимум дать ему шанс. Короткое письмо, подписанное Юстусом Швабом, Эдом Брейди и мной, с описанием нашего дела и вопросом, не согласится ли он увидеться с Карнеги, который скоро должен был вернуться из Шотландии, улетело к Бенджамину Такеру.



Бенджамин Такер

Ответ Такера представлял собой длинное письмо с перечисленными условиями, на которых он пойдёт к Карнеги. Он писал, что скажет ему: «При формировании своего отношения вы, разумеется, воспримете как должное, так же как я воспринимаю это как должное, что они к вам обращаются как раскаявшиеся грешники, молящие о прощении и ищущие освобождения от наказания. Само их появление перед вами лично или через посредника по такому делу должно считаться показателем, что то, что они когда-то считали мудрым героическим поступком, сейчас они считают глупым и варварским... Что шесть лет заключения мистера Беркмана убедили их в ошибочности их пути... Любое другое объяснение мольбы этих просителей не сочетается с надменностью их характеров; разумеется, что не стоит полагать ни на минуту, что мужчины и женщины с их смелостью и достоинством после намеренной и хладнокровной стрельбы в человека снизошли бы до подлой и унижительной мольбы к своим же жертвам, чтобы те даровали им свободу снова себя убить... Лично я не стою перед вами, как раскаявшийся грешник. Насколько я помню, мне не за что просить прощения. Я оставляю за собой все свои права... Я отказывался совершать, подготавливать или поощрять насилие, но поскольку могут сложиться обстоятельства, когда политика насилия покажется желательной, я отказываюсь отречься от своей свободы выбора...»

В письме не было ни слова о Сашином приговоре, который даже с точки зрения закона был диким; ни слова о мучениях, которые пережил заключённый; ни одного доброго слова от мистера Такера, представителя великого социального идеала. Ничего, кроме холодного расчёта, как унижить Сашу и его друзей и одновременно выставить своё высокомерное мнение. Ему было не понять, что человек может острее чувствовать боль, причинённую другим, чем свою собственную. Он был не способен постичь психологию того, кого жестокость Фрика во время увольнений в Хоумстеде вынудила выразить свой протест актом насилия. Очевидно, не хотел он осознать и то, что Сашины друзья могли пытаться добиться его освобождения, не признавая при этом «ошибочность своего пути».

Мы обратились к Эрнесту Кросби⁹⁹, ведущему пропагандисту единого налога и толстовцу, который также был очень талантливым поэтом и писателем. Он был человеком совсем другого склада: понимающий и отзывчивый, даже если не полностью разделял чужое мнение. Он пришёл к нам в компании молодого мужчины, которого я знала как Леонарда Эббота. Когда мы рассказали о сути нашего дела, мистер Кросби сразу же согласился сходить к Карнеги. Он объяснил, что его волнует только одна вещь. Если Карнеги вдруг потребует гарантий, что Александр Беркман после освобождения не совершит вновь акта насилия, что ему ответить? Сам он никогда бы не задал такого вопроса, понимая, что никто не может заранее знать, на какой поступок он способен под давлением. Но как посредник он считает необходимым, чтобы мы осведомили его на этот счёт. Конечно, мы не могли дать никаких гарантий, и я знала, что Саша никогда не станет брать на себя обязательства «измениться» и не позволит, чтобы это делали от его имени.



Эрнест Кросби

В конце концов дело закончилось нашим решением не ходить к Карнеги вообще. Сашино дело даже не представили Совету по помилованиям в назначенное время. Члены Совета оказались слишком предвзятыми к нему, и мы надеялись, что новый Совет, который должен был вступить в полномочия в следующем году, окажется более беспристрастным.

После долгих попыток получить зал для протестного митинга против антианархистского конгресса нам удалось зарезервировать Купер-Юнион. Он всё ещё следовал принципу, установленному его основателем, — предоставлять слово всем политическим мнениям. Мои друзья боялись, что меня арестуют, но я была намерена остаться до конца. Я очень переживала из-за попыток отобрать последние остатки свободы слова, а на душе из-за ситуации в личной жизни было совсем скверно. На самом деле я надеялась на арест, чтобы убежать от всего и всех.

Накануне митинга Эд неожиданно нарушил молчание. «Я не могу вынести того, что тебе грозит опасность, — сказал он. — Попробую ещё раз до тебя достучаться. Пока ты была в

туре, я решил подавить свою любовь и попытаться встретить тебя как товарищ. Но я осознал всю абсурдность этого решения в минуту, когда увидел тебя на вокзале. С тех пор внутри меня шла суровая борьба, я даже решил оставить тебя совсем. Но я не могу этого сделать. Я позволю ситуации плыть по течению до тех пор, пока ты снова не уедешь в тур, но раз тебе сейчас грозит опасность, я должен высказаться, попытаться сократить разрыв между нами».

«Но нет никакого разрыва! — возбуждённо воскликнула я. — Если только ты не настаиваешь на том, чтобы его создать! Конечно, я переросла многие представления о себе, которые тебе так дороги. Я не могу это изменить, но я люблю тебя, разве ты не понимаешь? Я тебя люблю, невзирая на то, кто или что появляется в моей жизни. Ты мне нужен, мне нужен наш дом. Почему ты не можешь освободиться от устоев, повзрослеть и принимать то, что я могу дать?»

Эд пообещал попытаться ещё раз сделать всё, чтобы не потерять меня. Наше примирение напомнило мне о начале нашей любви в моей маленькой квартирке в Богемной республике.

Митинг в Купер-Юнион прошёл без проблем. Иоганн Мост, пообещавший выступить на нём, так и не появился. Он не стал бы говорить на одной трибуне со мной; в нём всё ещё жила злоба.

Через три недели Эд заболел пневмонией. Вся моя забота и любовь были брошены на борьбу с вероятностью потерять эту дорогую жизнь. Большой сильный мужчина, который легкомысленно отзывался о болезнях и который часто намекал, что «такое поведение заложено только в женских особях», сейчас нуждался во мне, как младенец, и не отпускал из поля зрения даже на минуту. Его нетерпеливость и раздражительность превосходили поведение десяти больных женщин вместе взятых. Но он был так сильно болен, что я не противилась постоянным требованиям заботы и внимания.

Федя и Клаус предложили свою помощь, как только узнали о состоянии Эда. Один из них подменял меня по ночам, чтобы дать мне несколько часов отдыха. Во время обострения я так волновалась, что не могла заснуть. Эда сильно лихорадило, он ворочался с боку на бок и даже пытался выпрыгнуть из постели. По его отсутствующему взгляду было понятно, что он никого не узнаёт, но, если его касался один из парней, Эд волновался сильнее. Когда однажды он особенно разнервничался, Федя с Клаусом уже хотели держать его силой. «Дайте я сама его успокою», — сказала я, наклонившись над любимым, прижимая его к беспокойному сердцу, заглядывая в его дикие глаза и пытаясь передать свою энергию. Эд боролся какое-то время, потом его неподвижное тело ослабло, и он, весь покрытый потом, со вздохом откинулся на подушку.

Наконец переломный момент прошёл. Утром Эд открыл глаза. Его рука протянулась ко мне, и он спросил слабым голосом: «Дорогая сестра, я отброшу копыта?» «Не в этот раз, — успокоила я, — но тебе нужно лежать спокойно». Его лицо засияло прежней красивой улыбкой, и он снова задремал.

Однажды, когда Эд уже встал на ноги, но был ещё очень слаб, мне нужно было пойти на митинг, на котором я обещала выступить ещё задолго до его болезни. Федя остался с ним. Когда я вернулась, поздно ночью, Федя уже ушёл, а Эд крепко спал. Федя оставил записку, в которой говорилось, что Эд чувствовал себя хорошо и уговорил его пойти домой.

Утром Эд ещё спал. Я проверила его пульс и заметила, что он тяжело дышит. Я забеспокоилась и послала за доктором Хоффманом. Тот выразил беспокойство по поводу необычно долгого сна Эда. Он попросил показать коробку морфина, которую оставил Эду. Не хватало четырёх доз порошка! Я дала Эду одну перед уходом и настояла, чтобы Федя не давал больше. Эд принял в четыре раза больше обычной дозы: несомненно, он пытался покончить с собой! Он хотел умереть — сейчас — после того, как я едва выдернула его из объятий смерти! Зачем? Зачем?

«Нужно поднять его на ноги и походить с ним, — скомандовал доктор. — Он жив, он дышит, нужно поддерживать в нём жизнь». Мы водили его обмякшее тело туда-сюда по комнате, время от времени прикладывая лёд к рукам и лицу. Постепенно его лицо начало терять смертельную бледность, а веки стали реагировать на давление. «Кто бы мог подумать, что такой сдержанный и спокойный человек, как Эд, будет способен на подобный поступок? — заметил доктор. — Он проспит ещё много часов, но не стоит волноваться. Он жив».

Я была шокирована этой попыткой самоубийства и старалась понять, какая причина довела его до такого поступка. Несколько раз я была близка к тому, чтобы спросить его об этом, но он пребывал в таком весёлом настроении и так быстро поправлялся, что я боялась копаться в этом ужасном деле. Сам он никогда об этом не говорил.

Потом однажды он удивил меня, сказав, что вовсе не намеревался покончить с жизнью. То, что я ушла на митинг и оставила его, когда он был так болен, привело его в ярость. Он знал по прошлому опыту, что может выдержать большую дозу морфина, и проглотил несколько порошков, «просто чтобы немножко тебя напугать и вылечить от мании митингов, которая не останавливается ни перед чем, даже перед болезнью человека, которого ты якобы любишь».

Его слова меня шокировали. Я поняла, что семь лет совместной жизни не помогли Эду осознать боль и страдания, через которые происходит мой внутренний рост. «Мания митингов» — вот что это для него значило.

Внутри меня началась борьба между любовью к Эду и осознанием, что жизнь потеряла смысл. В конце этой горькой борьбы я поняла, что должна его оставить. Я сказала Эду, что мне придётся уйти, навсегда.

«Твой отчаянный поступок, чтобы оторвать меня от деятельности, — сказала я, — доказал мне, что ты не веришь в меня и в мои цели. Раньше этой веры и так было мало, а теперь её нет вообще. Без твоей веры и сотрудничества наши отношения для меня не имеют смысла». «Я люблю тебя больше, чем в первые дни!» — возбуждённо перебил он. «Это бессмысленно, дорогой Эд, обманывать себя и друг друга, — продолжала я. — Ты хочешь меня только в качестве жены. Мне этого недостаточно. Мне нужны понимание, гармония, восторг, которые

являются результатом единства идей и целей. Зачем тянуть до тех пор, пока наша любовь не будет отравлена злобой и не станет жалкой от взаимных упреков? Сейчас мы ещё можем расстаться друзьями. Всё равно я еду в тур — будет не так больно».

Наконец он перестал яростно ходить по комнате. Он молча смотрел на меня, как будто пытаюсь проникнуть внутрь. «Ты полностью неправа, ты так неправа!» — отчаянно воскликнул он, потом повернулся и вышел из комнаты.

Я начала готовиться к туру. Приближался день отъезда, Эд просил разрешить ему проводить меня. Я отказала: я боялась, что могу сдать в последний момент. В тот день Эд пришёл домой днём, чтобы пообедать со мной. Мы оба притворялись весёлыми. Но при расставании его лицо на мгновение потемнело. Перед уходом он обнял меня со словами: «Это не конец, дорогая, этого не может быть! Это твой дом, сейчас и навсегда!» Я не могла говорить, моё сердце было полно горя. Когда дверь за Эдом закрылась, я не могла сдержать рыданий. Все предметы вокруг вдруг приобрели странное очарование, каждый из них будто рассказывал мне свою историю. Я осознала, что промедление означает подрыв моей решимости оставить Эда. С трепещущим сердцем я вышла из дома, который так любила.